





АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Царь Столыпин Ленин

Главы из книги
"Красное Колесо"

Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
С60

Книга издана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

редактор
Н. Д. Солженицына

художник
Р. М. Сайфулин

Солженицын, А.И.

С60 Царь. Столыпин. Ленин : Главы из книги «Красное Колесо» / Александр Солженицын. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 618 с.

ISBN 978-5-17-103302-6.

В этой книге — полная выемка из «Красного Колеса» глав о Богрове, Столыпине и императоре Николае II; выемка глав о Ленине, а также косвенно относящихся к Ленину, и глав о Троцком.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© А.И. Солженицын, наследники, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

Столыпин и Царь

ЗАМЫСЕЛ

Он родился в день, когда умер Пушкин. День в день, но ровно через 50 лет, через полоборота века, на другом конце диаметра. И — в Киеве.

Его прадед по отцу и дед по матери были винными откупщиками. Дед по отцу тоже долго служил по питейному промыслу, но оказался способный литератор, «Записки еврея» Богрова, напечатанные Некрасовым, сочувственно читались в 70-х годах, а с еврейской стороны вызвали нападки за выставление неприглядных сторон быта. К старости дед крестился ради женитьбы на православной, покинул первую семью и умер в глухой русской деревне ещё до рождения внука. Сын от первого брака, Герш Богров, остался в иудейской вере, по материнской линии получил наследство, был влиятельный присяжный поверенный с миллионным состоянием (мог единовременно пожертвовать на больницу 85 тысяч), владелец многоэтажного доходного дома на Бибиковском бульваре, второго от угла Крещатика. Он был из видных коренных членов киевского Дворянского клуба, председатель старшин клуба «Конкордия», известен как чрезвычайно счастливый игрок, в его доме за карточным столом сходились знатные киевляне. Семья бывала часто за границей, жили по-барски, у каждого из двух мальчиков была своя фройляйн, учили языки. Младшего, едва подрос и до последнего дня, прислуга звала «барин», и для удобства жизни имел он к своим комнатам парадный вход, отдельный от родителей. Посетителей к нему вводила горничная.

Без труда он был принят в 1-ю киевскую гимназию, тут же, через несколько домов. Как и все гимназисты того времени, он жадно вживался в либеральные и революционные учения. Постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густились в нём, как и во всей русской учащейся молодёжи. Гимназистом 5-го класса Богров уже посещает кружки самообразования, читает *литературу* и агитирует сам — булочников, каретников. Он очень рано определяет своё презрение к нерешительным социал-демократам, сочувствует *эксам* и террористическим актам. Переменяясь, он отдаёт

свои симпатии то эсерам, то максималистам, то анархистам. В споре с отцом, предпочитающим эволюционное развитие, мальчик до слёз отчаяния отстаивает путь не только революционного изменения строя, но полного уничтожения основ государственного порядка. При одной из поездок с родителями на европейский курорт юный Богров на границе обыскан полицией — и так родителям явлен вокруг сыновьей головы почётный ореол неблагонадёжности.

Весною не какого-нибудь, но 1905 года он кончает с отличием гимназию, той же осенью поступает в Киевский университет. Однако по начавшемуся революционному времени родители отвозят его вместе со старшим братом в университет Мюнхенский. Он долго потом не может простить себе, что поддался этому отъезду: в Киеве его сверстники митинговали на Крещатике, свергали с думского балкона царскую корону, прокалывали царские портреты, стреляли, — братьев Богровых держали в безопасности в Мюнхене. Тут вслед за Манифестом 17 октября произошёл в Киеве еврейский погром — и весть о погроме властно звала младшего Богрова назад: «Не могу оставаться сложа руки за границей, когда в России убивают людей!» Но родители не дают ему отдельного паспорта, хотя ему и девятнадцатый год.

В Мюнхене он обильно изучает революционную литературу — и отвергает избранный им анархизм-индивидуализм за то, что тот прославляет личность как таковую и ведёт к буржуазному идеалу. Он читает Кропоткина, Реклю, Бакунина — и переходит к анархо-коммунизму. Это учение — враг государства, собственности, церкви, общественной морали, традиций и обычаев: каждый член общества может и без того рассчитывать на такое количество благ, которые ему потребны, — ведь человек по природе не корыстен и не ленив и никто не будет уклоняться от работы, ведь в людях глубже стремление ко взаимопомощи, чем к обособлению.

Но его всё время мучит, что он ушёл от напряжённой борьбы тяжёлого времени, — и в конце 1906 он возвращается в Киев.

Рос и зрел дисциплинированный ум и характер со способностью к систематическим действиям. Среди черт его проявились постоянная сосредоточенность, внимательность, осторожность, даже напряжённость. Отметной особенностью его было — никогда ни с кем не соглашаться, всегда иметь своё мнение. На массовке в Дарницком лесу его описывают: отстранённым, нелюдимым, необщительным, в выступлении — отчётливо-отрубистым. По замкнутости натуры он и действительно нуждался часто в уединении, остояться самому с собой, предпочитал отношения деловые, друзей отталкивал иронией, насмешкой, холодностью. Насмешка так и струилась из его острых глаз, оттопыренных губ, ему стоило

усилия выражаться не колко. Но иногда он находил силы побыть в компании с запасом фраз на случай и даже с короткой репутацией «весёлого малого, хохмача».

Взгляд его, теперь всегда за пенсне в металлической или черепаховой оправе, был вдумчив, со смесью печали и иронии. Наружность никак не была революционной, напротив — в узких рейтузах, при свежем воротничке и чёрном галстуке, он выглядел типичным белоподкладочником. Одет был чаще всего элегантно, и манеры таковы. Он был высоковат, всегда худ, бледен, или с нездоровым румянцем, неестественно моложав — к двадцати годам никакой растительности на лице. Всегда он казался истощён, переутомлён, недоумён и невесел. И голос его был надтреснут с вибрирующими нотками, как у лёгочных больных. Когда же Богров улыбался — улыбка как бы механически добавлялась к его лицу, а черты не пропитывались ею. Телесной силы совсем не было в нём, как он ни нагонял её гимнастическими приспособлениями в своей богатой квартире.

Филёры дали ему кличку «Лапкин» — метко, и по наружности и по манере действовать.

Ему немало и рано выпало светской жизни, киевских клубов, театров, бегов, скачек, зарубежных курортов. Он играл на тотализаторе, в карты, в рулетку, отдавался азарту, ценил его. Отец не слишком стеснял сына в денежных выдачах.

Богров никак не считал такую жизнь своим идеалом, но и не мог отказаться её вести. Изнеженное тело его привыкло к благам и даже на самый короткий срок отвращалось от сурового испытания. Вот это своё охотное приспособление к удобствам он считал своей слабостью, развращённостью. Для того чтоб этими удобствами пользоваться без зазрения, надо иметь другую скрытую, осмысленную жизнь. Такою жизнью могла быть только жизнь революционера. Так как и внутренние стремления и общественная температура втягивали молодого Богрова туда же — он и делал шаги ознамливания в революционной среде.

Одно время в университет он ходил с браунингом в кармане — потому что ненавидел насилие и обязан был с ним бороться во всякий внезапно возникающий момент. Браунинг из кармана взывал к свободе. Но к возне студенческих организаций Богров относился пренебрежительно: в университет ходят экзаменоваться, а выступать на простой студенческой сходке уважающий себя конспиратор не станет.

Выбор правильной партии — решающий выбор жизни. Богров ещё снова колебнулся к решительной партии максималистов — и опять снова к анархистам. В 1907 году среди анархистов,

достигших и не достигших 20 лет, — Наума Тыша, братьев Городецких, Саула Ашкинази, Янкеля Штейнера, Розы 1-й Михельсон, Розы 2-й, — Богров уже слыл умелым и смелым боевиком, хотя сам ещё ни разу не участвовал ни в одном эксе, ни в одном акте, ни в одном прямом нападении, лишь смело отбивался при разгоне литературно-драматического общества да пропагандировал среди арсенальских рабочих. Но товарищи ценили Богрова за остроту суждений, верность мнений и хладнокровие в прятании и пересылках оружия. В его руках были партийные деньги, он финансировал расходы по устройству лаборатории взрывчатых веществ, покупке оружия и транспортировку его дальше по Югу, но даже и в Тамбов и Борисоглебск. Правда, некоторые, как Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Дубинский, недолюбливали Богрова за его богатое положение, для всех его кличка была «Митька-буржуй», однако он стал утверждённый герой, особенно для девушек — Ханы Будянской, Ксеньи Терновец, которые вне партийной деятельности им бы не восхищались. Среди киевских анархистов положение его стало так значительно, что, когда Бурцев при побеге из Сибири пробыл пять дней в Киеве, — единственный анархист, который знал его укрытие и встречался с ним, был Богров.

И многих своих товарищей он превосходил теоретическими суждениями. Он указывал, что для обширных массовых движений и общественных переворотов нужна настолько организованная партийная деятельность, какой у них не было и быть не могло — при возмутительно плохой конспирации и недержании речи, — небрежности конспирации выводили его из себя. А что всегда было легко применить и давало яркие результаты — это террор. Всякий акт революционного террора достаточно мотивируется всем укладом буржуазной жизни, важно только понять классовую целесообразность в данный момент. Неправильным он считал направлять террор против крупной буржуазии, а правильным — против чинов самодержавия, причём не стрелочников убивать, а — самых главных, то есть террор *центральный*. В ответ на стеснения евреев и разные киевские эпизоды с ними, после разгона вот уже Второй Думы, — Богров не раз и не одному высказывал, что надо переходить к государственному террору, предлагал убрать начальника Охранного отделения, Жандармского управления и командующего Киевским Военным округом Сухомлинова. В том году он высказывал намерение и сам лично убить кого-нибудь из высокопоставленных. Позже этот мотив погас у него, не слышали.

Разные группы российских анархистов выражали свои буйные убеждения в трёх эмигрантских журналах: «Анархист», «Бунтарь» и «Буревестник». В одном из них как-то напечатал теорети-

ческую статью и Богров. В ней он осуждал *экономический террор*: убийство заводских мастеров не наиболее разрушающе действует на современный строй, а иногда может и оттолкнуть рабочих от анархизма. Осуждал и профсоюзы: борьба за лучшие условия *продажи* рабочей силы никак не является частью революционно-насильственной борьбы рабочего класса. Но: первый вопрос практики революционной работы — отношение к экспроприациям. Дело в том, что у вожаков анархистов развился дух компромисса к тому, чтобы деньги, добытые эксками, распределять на личные нужды самих анархистов. Но такая экспроприация не имеет решающего революционного значения, ибо деньги переходят как бы от одного собственника к другому. И киевская группа анархистов, уверял Богров, отказалась от личного дележа добытых денег.

Уж если б она совсем отказалась или давно отказалась, то негде было бы Богрову эту делёжку наблюдать. Но всё более смущало его кипение анархистского дележа. В письмах и разговорах того времени Богров решался даже высказывать отвращение к этой корысти. Отвечали братья-анархисты: «Тебе, буржуй, хорошо говорить, тебе папаша даёт!», — и он тупился. Так легло принципиальное раздражение между ними. Среди революционеров всегда полагалось говорить только об угнетённом пролетариате, как будто слои достаточные, самостоятельные, просвещённые не достойны были ни защиты, ни свободной лучшей жизни.

Даже начинало казаться Богрову, что все эти революционные партии и группы больше сходственны, чем различны, так что не столь и важно, какую изберёшь. А хоть и никакую. Никакой *член партии* ничего крупного совершить не может, а только свободная талантливая личность.

Отец посмеивался: он уважал своего умного сына и вовсе не сомневался, что тот очнётся. А лёгкое касание к революции и большие симпатии к ней — обязательны для всякого порядочного человека в России.

А тут как раз и вся революция по всей стране — опала, распласталась, показав свою неготовность и ничтожество. В 1907 в ответ на разгон Думы не вспыхнула полоса военных мятежей, ни забастовок, как годом раньше. Свалило, сдуло все знамёна, крики и взрывы революции. Такую уже почти взятую игру — и проиграли бездарно! У революции не оказалось верных сил, а у самодержавия — оказались.

Да с этим сбродом, какой повидал Богров, мудрено было бы победить. Никаких революционных железных рядов из них не составить. А даже и победить с ними вместе страшно: эта рвань

ничего и не жаждала, кроме грабежа и дележа. После победы они выступили бы разрушителями свободной и независимой жизни.

Теперь испытывал Богров физически брезгливое чувство, как очиститься от этой швали, как отрясти с себя связи подполья и вернуться в свою преимущественную устойчивую жизнь. Вернуться не для счастливого прозябания, но хотя бы иметь досуг и простор обдумать унижительное поражение. Развитое общество, круг и слой Богрова, — он-то и понёс поражение, у него-то и вырвали уже взятую свободу.

Однако отрясти прежние связи было и не так просто: все эти братья-анархисты и сестры-анархистки — Эндель Шмельте или Ровка Бергер, Шейна Гутнер или Берта Скловская, — вцепились в Богрова и держались. В наступающее строгое время они своим неумелым копошением и несдержанной болтовнёй могли и должны были его погубить, а все вместе не были способны ни на что действенное. По простым санитарным мотивам была бы достойна эта грязная публика стереться с киевских улиц. Процесс ухода от них неизбежно должен был стать мероприятием активно-санитарным. В том и досада была, что Богров измазался ни за что, ничего не совершив, — а из-за этого не мог теперь двигаться дальше, уже под подозрением, уже на дурном счету у охраны.

Он хотел уйти от партии — а не от революционного действия. Он больше — или пока — не нуждался ни в партии, ни в организации, и даже не знал таких отдельных людей, с кем хотелось бы поделиться замыслом или сотрудничать. Одиноким и хрупким, он нуждался сам изжить горечь, искать и искать какой-то путь — переиграть проигранное, он не мог примириться с разгромом.

Но на всяком пути действия ему противостояла и перегораживала — Охранка.

Надо было снять её пристальность к себе, если такая где-то таится. Но не благонамеренным же тягучим замиранием. А — самому, наоборот, пойти, пронизать её и понять. Врага надо знать. Познакомиться с этим львом, пощекотать ему усы? Снова острая игра, этап игры. Того стоит.

И даже не противоречит его недавнему. У анархистов нет партийной дисциплины, учение анархистов допускает каждого члена выбирать линию поведения по собственному усмотрению.

А узнав врага, можно будет лучше понять, как его обвести. Кое-какие методы и тонкости работы охраны хорошо освещались в легальном журнале «Былое». Остальное надо было доузнать собственным опытом.

Если действовать — даже никакого другого решения и найти было невозможно.

Всего полгода — от своего приезда из Мюнхена — провёл Богров в кипении киевского анархизма — и уже пришёл к такому решению. И он — явился в киевское Охранное отделение и предложил услуги *сотрудника* — тайного осведомителя. Добровольная явка студента, да ещё из такой почтенной семьи, да ещё такого подавляющего ума, — редкий случай, чрезвычайно обрадовавший начальника секретной агентуры Охранного отделения ротмистра Кулябку. (Богрову нетрудно было предварительно собрать сведения, что Кулябка — не алмаз охранного дела, неудачно служил в московской полиции, уволен, здесь был писцом, но поднят протекцией своего шурина, тоже поднявшегося.)

Однако приятной беседой и улыбками такое знакомство не могло ограничиться, — совершенно ясно, что предстояло *называть* — лица, события, планы. Богров обдумал тактику и ранее — а смотря на глупо-хлопотливое лицо Кулябки и вовсе уверился в своём обеспеченном превосходстве. Кулябка был выдающийся баран, до поразительности ни о чём не осведомлён, рад каждому второстепенному сведению и не могущий различить ценности его. (А Богров ещё так недавно предлагал применять к этому дураку террор!) При такой ситуации не было и нужды производить крупные выдачи. Можно было дурить: придавать вид агентурных сведений некоторым результатам уже происшедших провалов. Можно было в увлекательной форме представлять сведения безразличного характера или хотя бы партийную дискуссию. Или указывать явные преступные деяния — но без лиц. Или известных лиц, но без преступных деяний. Ощущая десятикратное превосходство ума, всё это Богров разыгрывал без труда — и суетливый, глупый, жадный Кулябка сиял от его осведомлённости, Богров казался ему светочем, ни с кем подобным он не работал. Разумеется, приходилось давать и более существенный улов — но можно было и пожертвовать кем-то из этой скотины, только грязнившей революционное знамя: чей-то адрес, или по какому подложному документу живёт, чью-то линию переписки, не самой важной; или пункт передачи журнала «Буревестник»; или свинячую группу борисоглебских максималистов; и группу анархистов-индивидуалистов (может быть, немного увлётся, не надо было); или предупредить экспроприацию в Политехническом институте (всё равно делили бы деньги между собой). То — *разъяснил* трудное дело Юлии Мержеевской, нервической и даже сумасшедшей девицы, лишь по случайности не успевшей в Севастополе убить царя (опоздала на поезд), но затем болтавшей о своём покушении вслух и всё равно обречённой. Богров вошёл в её доверие, брал её конспиративные письма и носил в охранку. (После этого уже не было границ кулябкинского доверия.)

Но при провале группы Сандомирского Богров владел самыми серьёзными документами — и не выдал их.

Для правдоподобия пришлось и самому испытать дома обыск, огорчив родителей, затем, до конца 1907 года, на время самых интенсивных арестов, уезжать в Баку. Воротясь — тем спокойнее продолжать свои еженедельные визиты в охранку.

Хладнокровному, пронизательному, внимательному юноше всё это доставляло забавный наблюдательный материал — ограниченность этих чиновников, неукрытые личные мотивы их, слабость методов, слепота, — невероятно, на чём вообще эта охранка держалась и существовала ли она в самом деле в России. По сути, только то существенное и знали они, что могли им принести секретные осведомители. Кулябку Богров рассматривал только юмористически. Обманув столько недоверчивых революционных друзей — этого-то селезня ничего не составляло дурить.

Разумеется, для правдоподобия Богров жаловался, что отец скуп, трудно бывает расплачиваться с картёжными проигрышами, — и получал от охранки в месяц когда 150 рублей, когда 100, смеясь, как легко они полагают покупать верность.

Когда в 1908 году Богров предложил друзьям-анархистам так построить анархическую работу в России, чтобы в Киеве сохранялись только конспиративный центр и лаборатории, а террористические выступления перенести на остальную страну, — то кроме несомненной тактической разумности он не без насмешки думал, что и им с Кулябкой так будет покойнее.

Ещё, повышенно интересуясь побегими из тюрем и помогая эти побеги устроить, Богров провалил два важных — Эдгара Хорна и группы Наума Тыша, своих товарищей из Лукьяновки. При этом, чтобы пригасить подозрения, он должен был арестоваться и сам — и осенью 1908 арестован. (Как предуказанием судьбы: у здания оперного театра и в сентябрьскую ночь!)

Свой арест Богров сам же и предложил Кулябке, но в решительный момент дрогнул: его изнеженность протестовала окунуться в душную общую Лукьяновку, он телесно испугался тюрьмы — и Кулябко устроил ему сидение при полицейском участке: приличную комнату с казённой обстановкой. Однако и в этой льготе Богрову невыносимо было оставаться пленным — и он метнулся к опрометчивому решению: освободиться уже через 15 дней.

Такое скорое освобождение вызвало, конечно, подозрения к нему и даже слухи о провокаторстве. Богров объяснял хлопотами влиятельного отца (хлопоты и были честно произведены, и даже киевский губернатор участвовал в них). Но тут в Женеве расправились с Борисом Лондонским (он же Бегемот, он же Карл Иваныч

Йост) — провокатором безусловным, провалившим и всю мощную южную Интернациональную Боевую Группу анархистов-коммунистов, и звезду анархизма Таратуту и загнавшим в тупик самоубийства одного из Гроссманов, — и теперь на казнённого упали и другие подозрения, а Богров обелялся.

Особенно поразило, что убийство произошло в вольной голубоватой Женеве. Даже в тех прекрасных западных городах и на лазурных курортах, ни в Мюнхенском университете, значит, не оставалось покойного житья, если ты заподозрен товарищами. А Богров после освобождения, взяв заграничный паспорт, как раз и ехал лечиться в Меране, пожить в Лейпциге, Париже, а заодно и посетить заграничные анархистские центры. (Иногда и охранка оплачивала ему такие поездки, он из них привозил Кулябке что-нибудь свеженькое, забавное. А службисты все друг с другом повязаны, и вот Богров по частному поручению Кулябки посещает в Ницце помещика Бутовича с предложением добровольно уступить жену — генералу Сухомлинову, так и не убитому, да видно, что и убивать незачем.) Но как ни чисто работал — подозрения против него длились, тянулись, слухи повторялись. Нельзя было дать им ходить. Богров возвратился в Киев и в конце 1908 добился своего оправдания от товарищеского суда анархистов в Лукьяновской тюрьме. С этой реабилитацией он в начале 1909 снова поехал в Париж и просил опубликовать её в эмигрантской печати. Центровые анархисты отговорили его: это было бы только раздуванием сплетен вокруг его честного имени.

Теперь, когда большинство товарищей пошли по тюрьмам и каторгам, Богров стал фигурой, одним из немногих *старых работников*, уцелевших после разгрома, — а с устойчивыми заграничными связями и единственный в Киеве, так что мог быть уверен: если где по России анархисты что захотят предпринять — они будут списываться с Богровым.

Но честолюбие никогда не было настойчивым чувством его. А эта ответственность была ему лишняя, а острота этой двойственности была куда больше, чем испытаешь на тотализаторе или на рулетке. Он пробирался в полной одиночной тайне (ни отцу, ни брату этого нельзя было говорить, а любимой женщины у него не бывало) — и только мог художественно полюбоваться сам, как это удалось: проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией, разыскать там щель и точно в неё уложиться. Никто больше в России не догадался так!

И вдруг — в том же январе Девятого года, когда Богров добивался печатать свою реабилитацию, в той же самой эмигрантской печати, а через несколько дней и в российской — он прочёл